

Трещина в своде



АНТОН МОРОЗОВ

Трещина в своде

«Автор»

2026

Морозов А.

Трещина в своде / А. Морозов — «Автор», 2026

Киевскому летописцу Нестору поручено доказать, откуда у княжеского рода право. Он находит, что род начался не с призвания, а с захвата торгового пути, — и, вынужденный написать удобную версию, прячет внутри неё улики для будущих пытливых читателей. Книга объясняет многие несостыковки в Повести Временных Лет и находится на стыке исторического исследования и художественного повествования.

© Морозов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Пристань.	5
Глава вторая. Никто их не звал.	18
Глава третья. Узлы.	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Антон Морозов

Трещина в своде

Глава первая. Пристань.

Весы были свейские, складные, из жёлтой меди, и в разложенном виде помещались на двух ладонях. Будигост держал их за петлю и ждал, пока чашки перестанут качаться.

Ждать пришлось долго. Ветер тянул с озера, и на пристани не было ничего, что могло бы его остановить: ни ладей у мостков, ни навесов, ни людей. Только он, весы и серебряные кружки с чужим письмом на левой чашке.

Он опустил на правую гирьку в четверть, потом ещё одну. Чашки сравнялись.

— Порезаны, — сказал он.

Свейн-гость поглядел на монеты так, будто видел их впервые.

— Бывает, что все резаны, — сказал он. — Ты в Бирке был? Там их рубят прямо на скамье.

— В Бирке я не был.

— Не был, — согласился Свейн. — Оттого и споришь.

Будигост сыпал серебро обратно в кошель. Считать было незачем: он уже сосчитал. За два сорока куниц Свейн теперь давал столько же, сколько три лета назад — за один. И это была не жадность Свейна. Свейн был не жадный, он был осторожный.

— Сколько бортов прошло вверх в это лето? — спросил Будигост.

— От Невы? Считая с моими?

— Считая.

Свейн подумал, шевеля губами.

— Девять.

— Позапрошлым летом было сорок два, — сказал Будигост. — Я считал сам, стоя вон там, где сейчас лежит бревно. Сорок два до осенних гроз и ещё одиннадцать после.

— Позапрошлым летом здесь сидел Гуннар, — сказал Свейн.

Он сказал это без злобы и без укора, как говорят о погоде. Потом сплюнул в воду, поглядел, как плевок относит к берегу, и добавил:

— Вы его прогнали. Хорошо. Он брал с борта много. А теперь у вас на волоке сидят люди, которых никто не знает, и берут сколько хотят, а если не дашь — берут всё вместе с ладьёй. Гуннар брал много, но он брал один раз. Тебе объяснить, что лучше?

— Не надо, — сказал Будигост.

— Я и не буду.

Свейн ушёл к своим. Будигост остался на мостках.

Пристань была длинная, в сорок два шага, срубленная его дедом и подновлявшаяся каждую вторую весну, и вся она сейчас была пустая. Вверх по течению стояли дворы: его, Тво-римиров, потом Держиковы, потом двор чуди, где всегда пахло рыбьим клеем, потом кузня. Кузня не дымила. Ниже, у самой воды, чернели ямы — там прошлым летом ставили большие клетки под чужое добро, и клетки стояли, и в них было пусто, а сторожей Будигост распустил ещё до первой косы, потому что нечего было сторожить.

Ладога стояла там, где стояла, по одной причине. Из озера в реку поднималось сколько угодно судов, а выше по Волхову шли пороги, и морскую ладью через них не проводили нико-

гда: её или разбивало, или приходилось разгружать и тянуть, а тянуть морскую ладью через камни — то же, что тянуть дом. Поэтому всё, что шло с моря, здесь ложилось на берег. Всё, что шло сверху, здесь ждало погоды. Здесь перекладывали, здесь чинили, здесь зимовали, здесь ели три месяца в году, здесь платили за постой, за смолу, за верёвку, за хлеб, за кузнеца, за то, чтобы ночью не сожгли.

Дед говорил: мы не богаты, мы просто лежим поперёк.

Теперь они лежали поперёк, и никто через них не шёл.

* * *

Отец созвал двор на другой день, после дождя, и было их девять человек.

Раньше на такие сходы приходило вдвое больше, но половина была из тех дворов, что стояли ниже по берегу, а те дворы этой весной свезли скот к родне на Сясь и заперлись. Так что было девять: сам Творимир, Будигост, Держик с сыном, старый Позвизд, двое Мировичей, чуждин Вейко, который говорил по-словенски медленно, но считал быстрее всех, и Вадим.

Вадим пришёл последним и сел не там, где садился обычно, а ближе к двери, и это все заметили.

Творимир начал с того, с чего начинал всегда: с числа.

— В это лето по Волхову прошло девять больших бортов и одиннадцать малых. В позапрошлом — пятьдесят три и тридцать. Кто хочет спорить о числе?

Никто не хотел.

— С девяти бортов мы взяли восемь гривен и шесть кун¹, — сказал Творимир. — В позапрошлом лето мы взяли сорок одну гривну и не считали мелочь. Кто хочет спорить о серебре?

Спорить о серебре хотел Позвизд, но не с числом, а вообще.

— Мы взяли восемь гривен своей волей, — сказал он. — А тогда мы взяли сорок одну, и половину у нас забрал Гуннар, и ещё он забрал двенадцать девок и не отдал.

— Не половину, — сказал Вейко. — Треть.

— Ты его считал, а я его помню, — сказал Позвизд.

— Я его тоже помню, — сказал Вейко. — Треть.

Творимир поднял руку.

— Сколько бы он ни брал, — сказал он, — при нём приходило пятьдесят бортов, а теперь девять. Мы прогнали его и стали брать всё. Всё оказалось меньше трети.

Он дал этому осесть.

— Гости не идут, — сказал он. — Не потому, что мы плохие. Потому что от Невы до порогов три ночёвки, и на каждой можно потерять ладью. При Гуннаре нельзя было. Он держал устье, и держал Любшу, и у него на волоке сидели его люди, и он их вешал, если они брали сверх ряда. Ты, Позвизд, помнишь двенадцать девок. А гость помнит, что при Гуннаре у него ни разу не резали кормчего.

— Значит, надо самим держать устье, — сказал Вадим.

Все повернулись к нему.

Вадим был широкий, невысокий, с руками кузнеца, хотя кузнецом не был, и говорил всегда так, будто уже решил, а сейчас только сообщает. Он был Будигосту свояк: они взяли сестёр из одного дома, и Будигост знал его двенадцать лет, и двенадцать лет он ему нравился.

¹ Гривна в то время – около 68 граммов серебра, куна - примерно один дирхем (2,7-2,9 грамма). 25 кун равнялись одной гривне.

— Своими держать, — сказал Вадим. — У меня сейчас двадцать два человека, у которых есть щит и которые пойдут. У Держика восемь. У тебя, Творимир, если позвать с полей, будет тридцать.

— Тридцать баб и мальчишек, — сказал Держик.

— Тридцать человек, — сказал Вадим. — Шестьдесят всего. Ставим засеку на Любше, ставим двоих на волоке, берём с борта по ряду, кто не даёт — топим. К третьему лету гость привыкнет.

— Гость не привыкнет, — сказал Вейко.

— Почему?

— Потому что он спросит: а кто вас держит?

Вадим не понял. Будигост видел, что он не понял, и это было первое, что его в тот вечер испугало.

— Нас никто не держит, — сказал Вадим. — Мы сами.

— Вот и я о том, — сказал Вейко. — Гость платит не за то, чтобы ты его пропустил. Пропустить его может любой. Гость платит за то, чтобы его не тронул тот, второй, кто сидит за поворотом. Если ты говоришь «мы сами», ты говоришь: за поворотом я не отвечаю. Тогда он заплатит и тебе, и тому, за поворотом, и посчитает, и в другой раз пойдёт Двиной.

— Двиной длиннее.

— Длиннее, — согласился Вейко. — А дешевле.

Стало тихо.

Будигост знал, что скажет отец, потому что они говорили об этом уже три недели, ночами, вполголоса, и три ночи из этих трёх недель он спорил и проиграл. Он всё равно надеялся, что отец скажет иначе.

— Я хочу позвать Рёрика, — сказал Творимир.

Позвизд встал.

Он не сказал ничего, только встал и стоял, и Творимир смотрел на него снизу спокойно, и через какое-то время Позвизд сел обратно.

— Мы прогнали одних, — сказал он тогда, — чтобы позвать других.

— Мы прогнали Гуннара, — сказал Творимир. — Рёрик — не Гуннар. Рёрик Гуннару не родня и не друг. Рёрик десять лет ходит сюда с товаром, и мой сын знает его в лицо, и он знает моего сына в лицо, и ни разу мы с ним не судились. У него сейчас нет своего берега. Он зимовал в устье на чужом и платил за это. Человек, у которого нет своего берега, а есть двести человек и восемь бортов, рано или поздно возьмёт берег сам. Я хочу, чтобы он взял наш по ряду, а не так.

— По ряду, — повторил Вадим.

— По ряду. Долю с борта. Место для зимовки на нашей земле, ниже кузни, там, где ямы. Хлеб — за серебро, не даром. И он держит от Невы до порогов, и отвечает за всё, что там случится.

— И сколько доли?

— Столько, чтобы ему было выгодно приходить, — сказал Творимир. — И не столько, чтобы ему было выгодно нас съесть.

— А кто скажет, где это? — спросил Вадим.

— Мой сын, — сказал Творимир. — Он поедет и сторгуется.

Расходились молча.

У ворот Вадим тронул Будигоста за плечо.

— Ты понимаешь, что ты повезёшь?

— Ряд.

— Ты повезёшь ему нашу реку и скажешь, сколько за неё дать, — сказал Вадим. — Он назовёт свою цену. Ты назовёшь свою. И вы сойдётесь где-то посередке, и ты вернёшься и

скажешь: я сторговался. А через три лета он будет сидеть в этом дворе, а ты будешь стоять там, где стоишь сейчас, и объяснять мне, что иначе было нельзя.

— А как было можно?

Вадим посмотрел на него.

— Никак, — сказал он. — Мне тоже никак. Только я хоть попробую сам.

Он пошёл вниз к воде. Будигост стоял и смотрел ему в спину и думал, что свояк, в общем, прав, и что от этого ничего не меняется.

* * *

Рёрика искали не за морем.

За морем его искать было бы глупо: за морем он бывал реже, чем здесь. Он держался устья Невы и Березовых островков, где стояли на камнях два сарая и вешала для сетей, и это место всякий кормчий на Волхове мог показать пальцем, не думая. Туда Будигост и пошёл, на двух малых лодьях, с Некрасом, с четырьмя гребцами и с восемью сороками куниц, которые он не собирался продавать, а вёз, чтобы было видно, что он не нищий.

Некрасу было пятнадцать. Он всю дорогу спрашивал, правда ли, что у Рёрика на большой ладье вырезан зверь с двумя головами, и правда ли, что он платит своим людям каждую зиму, даже если зимой они ничего не делают.

Про зверя Будигост не знал. Про плату знал.

— Платит, — сказал он. — Оттого они и его.

— А наши чьи?

— Наши свои. Потому их и мало.

Шли четыре дня. На третий, у острова в истоке Невы, встретили две ладьи, которые не были ни гостевыми, ни рыбацкими, и те шли встречу и не свернули, и пришлось поднять щиты и стоять так, пока не разошлись бортами на пять шагов. Никто ничего не сказал. Будигост сосчитал в них людей: в одной одиннадцать, в другой девять. Двадцать человек на реке, которых он не знал.

Раньше он знал на этой реке всех.

Он подумал об этом и понял, что уже не спорит с отцом даже про себя.

* * *

Рёрик принял его на воде.

Это была не гордость, а привычка: он вообще не любил говорить о деле в доме, где чужие стены и чужие уши. Спустили малый чёлн, отгребли от берега на бросок камня, и там их было четверо: Рёрик, кормчий Асгаут, Будигост и мальчишка лет пятнадцати, который сел на нос, отвернулся и всю беседу глядел в воду. Будигост сперва решил, что это кто-то из челяди, потом заметил на нём хороший пояс.

Рёрику было под пятьдесят. У него было широкое лицо, коротко стриженная седая борода и медленные глаза, и он всегда, сколько Будигост его помнил, слушал дольше, чем говорил.

— Твой отец жив? — спросил он.

— Жив.

— Хорошо. — Рёрик кивнул. — Говори.

Будигост сказал.

Он говорил долго и старался говорить как отец: сначала число бортов, потом число серебра, потом что было при Гуннаре и что стало теперь. Он не сказал ни слова о том, что им плохо. Он сказал: у нас лежит поперёк дороги место, а по дороге никто не идёт, и это убыток и нам, и тебе, потому что ты возишь сюда своё, а некому продать.

Рёрик выслушал, не перебивая.

— Чего вы хотите? — спросил он.

— Чтобы от Невы до порогов было тихо.

— Это я понял. Чего вы хотите, — повторил Рёрик, — чтобы я сделал?

— Сесть у нас. Держать устье и волок. Брать долю с борта по ряду.

— Какую?

— Десятую часть.

Асгаут засмеялся. Рёрик даже не улыбнулся.

— Гуннар брал треть, — сказал он.

— Гуннар брал сколько хотел, и его выгнали.

— Его выгнали, потому что он в один год взял и долю, и девок, и лошадей, — сказал Рёрик. — Не потому, что треть. Треть вы платили девять лет и не жаловались.

Будигост промолчал.

— Десятая часть — это плата за сторожа при воротах, — сказал Рёрик. — Я не сторож. Мне нужно кормить двести человек зимой, когда они ничего не приносят. Мне нужно чинить восемь бортов. Мне нужно на волок посадить двадцать человек, и они там сгниют от скуки и начнут брать сами, если я не буду им платить больше, чем они возьмут сами. Считай.

— Я считал.

— Тогда назови другое число.

— Пятая.

— Четвёртая.

— Пятая и зимовка на нашей земле даром, — сказал Будигост. — И хлеб мы вам продаём, а не даём, но по нашей цене, а не по чужой.

Рёрик подумал.

— Пятая с борта, — сказал он. — И четвёртая с того, что идёт через волок вверх.

— Это одно и то же.

— Нет. — Рёрик поднял два пальца. — Борт — это тот, кто пришёл к вам и разгрузился. Волок — это тот, кто пошёл дальше, к кривичам и выше. С него берут дважды: раз здесь, раз там. Второй раз беру я, потому что я его туда провожу и приведу обратно. Твоего в этом ничего нет.

Будигост поймал себя на том, что не может возразить, и то, что он не может возразить, ему не понравилось. Он попробовал понять, где здесь подвох, и не понял.

— Хорошо, — сказал он медленно.

— Дальше, — сказал Рёрик. — Дань с чуди и с веси, что вы берёте зимой, — чья?

— Наша.

— Пусть ваша. Я в неё не вхожу. Но если чудь не даст, и вы придёте ко мне за людьми, я дам людей, а половина взятого будет моя.

— Половина — это ты берёшь половину за то, что дал людей на две недели?

— Тогда не приходи за людьми.

— Треть.

— Половина в первый раз, треть потом, — сказал Рёрик. — В первый раз всегда дороже. Дальше.

— Ты держишь от Невы до порогов, — сказал Будигост. — Если у гостя на этой воде отняли ладью, ты возвращаешь ладью или платишь за неё.

Асгаут перестал улыбаться.

— Это большая вещь, — сказал Рёрик.

— Это единственная вещь, за которую мы платим, — сказал Будигост. — Всё остальное мы можем и сами.

Рёрик впервые разглядел в нём не сына Творимира, а человека, который сказал верное.

— Плачу за ладью, если её взяли между Невой и порогами и если хозяин шёл открыто и заплатил ряд, — сказал он. — Если он крался мимо, не заплатив, — не плачу. Ищи его сам в озере.

— Согласен.

— Дальше. — Рёрик поднял третий палец. — Кто у вас против?

Будигост не ответил сразу.

Ветер тянул от берега, чёлн разворачивало, Асгаут подгрёб веслом. Мальчишка на носу не шевелился.

— Всегда кто-нибудь против, — сказал Будигост.

— Всегда, — согласился Рёрик. — Меня не занимает, что они говорят. Меня занимает, сколько у них щитов.

— Двадцать два.

— У одного человека или у трёх?

— У одного.

— Имя.

Будигост подумал: сейчас я скажу имя, и это будет уже не торг.

Он сказал:

— Вадим.

— Кто он тебе?

— Свояк.

Рёрик кивнул, будто это было записано в столбик и он поставил галку.

— Ещё, — сказал он. — Ильменские что?

— Гостомысл с Гуннаром пересылался и, думаю, пересылается.

— Значит, будет.

— Что будет?

— Гуннар, — сказал Рёрик. — Не в это лето и не в то. Но у него сейчас тоже нет берега, и он тоже это как-нибудь решит. — Он поглядел на небо. — Последнее. Как мы поверим друг другу?

— Мы дадим клятву.

— Клятву дадим, — сказал Рёрик. — Клятвы хватает на то время, пока обоим выгодно её держать. Мне нужно ещё что-нибудь на то время, когда станет невыгодно.

— Что?

— Твой брат.

Будигост обернулся. Некрас сидел на дальней лодье, свесив ноги, и глядел на них, и было видно, что он ничего не слышит и очень хочет слышать.

— На сколько?

— На год, — сказал Рёрик. — Он будет есть, что мои, и спать, где мои, и никто его пальцем не тронет. Через год отдам. Если через год мы не разойдёмся — отдам совсем и возьму его в дружину, если сам захочет.

— А если разойдёмся?

Рёрик не ответил. Он просто смотрел, и Будигост понял, что вопрос был глупый.

— Хорошо, — сказал Будигост.

— И ещё, — сказал Рёрик. — Твой отец стар. Когда он умрёт, ряд будет с тобой?

— Со мной.

— Я хочу услышать это при твоих.

Так и сделали. На берегу, при своих и при чужих, над кольцом, Будигост сказал вслух, что ряд держит он и после отца тоже он, и Рёрик сказал, что держит от Невы до порогов, и оба назвали числа, чтобы люди слышали числа и помнили.

Мальчишка с носа чёлна стоял в стороне и, пока говорили числа, шевелил губами.

Уже потом, ночью, Будигост спросил Асгаута, кто это.

— Родня, — сказал Асгаут. — С той стороны, дальняя. Хельги.

— Он всё время считает.

— Он всегда считает, — сказал Асгаут. — Он ещё ребёнком считал, сколько шагов до двери. Толку с него пока никакого.

* * *

Рёрик пришёл на восьми бортах через двадцать дней, как и обещал, и это было первое, что произвело в Ладоге впечатление: не восемь бортов, а то, что через двадцать дней.

Люди у него были разные. Будигост, стоя у мостков, считал: свеев человек шестьдесят, столько же данов и с ними народ помельче, гутов и ещё каких-то, десятка полтора куршей, которых он узнал по шапкам, четверо чуди, двое словен с Меты-реки. Остальных — человек шестьдесят — Будигост различить не умел: они не сошли с бортов. Дружина была не племя. Дружина была то, что нанялось.

Место им отвели, где ямы, ниже кузни. Они за одиннадцать дней поставили там четыре длинных дома, потому что привезли брёвна с собой: за бортами пригнали два плота с готовым лесом, уже с зарубками, — Будигост такого раньше не видел и полдня простоял, глядя, как из привезённого складывают, будто чинят разобранное.

Дальше началась зима, и зима была хорошая.

Хорошая она была прежде всего тем, что Рёрик, сев, немедленно сделал две вещи, о которых в ряду не было ни слова.

Первое: он послал двадцать человек на волок и одного из своих поставил над ними, а через месяц, когда те двадцать взяли с новгородского гостя сверх ряда полторы гривны, он поехал туда сам, и двоих повесили на месте, а серебро вернули гостю при свидетелях. Гость был мелкий, ходил с одной лодьёй, и звали его Держата, и он потом всю зиму сидел в Ладоге и рассказывал об этом каждому, кто наливал.

Второе: он выкупил у Позвизда его сгоревшую клеть, заплатил за неё дороже, чем она стоила, и построил на её месте свою, лучше. Позвизд после этого перестал вставать на сходах.

Будигост тогда подумал, что Рёрик покупает не клеть. Потом подумал, что и так бывает, что человек просто заплатил дороже.

В марте пришли слухи, что Гуннар зимует у ильменских, и Гостомысл его кормит.

Рёрик выслушал, кивнул и ничего не сделал.

— Ты не пойдёшь? — спросил Творимир.

— Зимой? — сказал Рёрик. — Зимой я его буду искать месяц и не найду, а мои будут мёрзнуть и злиться. Летом он придёт сам, потому что ему тоже нужен берег. Тогда и решим на каком вы останетесь — на моём или на его.

Он оказался прав. Гуннар пришёл в июне, на пяти бортах, обходным лужским путём, и не дошёл: его встретили в устье, в узком месте, где Рёрик держал две ладьи с ранней весны и менял на них людей каждые полмесяца, и никто в Ладоге этого не знал, кроме Асгаута и, как выяснилось, Будигоста, которому Рёрик сказал за неделю — не спрашивая совета, а чтобы сказать.

Бой шёл полдня. Гуннара не убили: он ушёл на двух бортах вниз и, по слухам, потом сидел где-то на Двине.

Троих взятых Рёрик отпустил на четвёртый день, дав им лодку и хлеба.

— Зачем? — спросил Будигост.

— Пусть расскажут, — сказал Рёрик. — Мне нужно, чтобы гость услышал не от меня.

* * *

Второе лето было такое, какого не помнили.

Прошло сто девять бортов. Будигост считал сам, стоя на том же месте у мостков, и на шестидесятом сбился, и завёл счёт на палочке, и на палочке к концу листопада было сто девять зарубок и ещё двадцать шесть мелких на другой стороне.

Кузня дымила с утра до темноты. Пришлось нанимать второго кузнеца, потом третьего. Чудин Вейко в то лето продал в Ладогe больше стеклянных бусин, чем за пять лет до того, — их тянули и навивали тут же, у него на дворе, в двух печках, из привозного стекла, и глазчатая шла за куницу, а простая синяя — четыре за куницу, и северная весь брала их так, будто это хлеб.

Творимиров двор получил свою долю с борта, свою плату за постой, свою плату за клети, за смолу, за верёвку и за хлеб, и когда осенью сели считать, вышло шестьдесят две гривны и сверх того мехом на девятнадцать. Из шестидесяти двух двадцать семь дала пошлина с бортов; остальное — постой, клети, смола, верёвка и хлеб.

Шестьдесят две — против сорока одной при Гуннаре и восьми в тот год, когда были сами.

И это — отдав Рёрику пятую с борта и четвёртую с волока.

Позвизд, услышав число, засмеялся и заплакал, потому что был пьяный и старый.

Некрас вернулся в конце того лета, ровно через год, как условились. Он вырос на полголовы, отпустил волосы, как у Асгаутовых, и научился ругаться на четырёх языках, и первое, что он сказал матери, было не «здравствуй», а «у нас на бортах сушат рыбу не так».

— У нас, — повторил Будигост.

— У них, — сказал Некрас и покраснел.

* * *

Человека к весам Рёрик поставил на третью зиму.

Сделано это было очень просто. Он пришёл на пристань утром, когда взвешивали пошлину с двух бортов, постоял, посмотрел и сказал:

— Пусть мой стоит рядом.

— Зачем?

— Чтобы считать мою пятую.

— Твою пятую считаем мы и отдаём тебе.

— Считаете вы, — согласился Рёрик. — А получаю я. Пусть мой видит, из чего.

Это было так разумно, что Будигост не нашёл, что ответить, и человек встал рядом.

Звали его Торд. Он был немолодой, тихий, и в первый месяц действительно только смотрел. На второй он стал говорить: «Это не сорок, это тридцать восемь», — и был прав, потому что в сороке всегда тридцать восемь или тридцать девять, так делали всегда, и все это знали, и никто никогда не считал вслух.

К весне пошлину стали брать с настоящего числа.

Будигост посчитал, сколько на этом теряет двор, и вышло немного: гривны три за зиму. Он сказал себе, что три гривны — не разговор.

Потом Торд стал приходить и к весам чуди, где вешали серебро при обмене на бусы. Вейко пришёл жаловаться.

— Он не берёт, — сказал Вейко. — Он смотрит.

— Ну и пусть смотрит.

— Ты не понял. — Вейко сел и стал говорить медленно, как всегда, когда говорил важное. — Он смотрит и запоминает, сколько у меня прошло. А раз он знает, сколько у меня прошло, то в другой раз он скажет: с этого тоже пятая. И я не смогу сказать «у меня меньше», потому что он знает.

— С бусин ряда нет.

— Ряды нет, — сказал Вейко. — А счёт есть.

Спор был весной, после ледохода, и был он не о бусах.

Рёрик пришёл к Творимиру сам, что делал редко, сел и сказал:

— Мне нужна пятая с того, что вы берёте зимой с веси.

— В ряду этого нет, — сказал Творимир.

— В ряду сказано: я держу от Невы до порогов.

— Весь не на Волхове. Весь на Ояти и дальше.

— А кто вам дал прошлой зимой сорок человек, чтобы дойти до Ояти? — спросил Рёрик.

— Мы отдали половину взятого, как уговорено.

— За людей. — Рёрик кивнул. — Я не о людях. Я о том, почему весь вообще платит. Весь платит потому, что знает: за вами стою я. Пять лет назад она не платила и смеялась. Я эту тишину сделал. Я и беру за неё.

— Это не по ряду.

— Тогда сделаем новый ряд, — сказал Рёрик спокойно. — Старый я не рву. Я предлагаю прибавить.

— А если мы не хотим прибавлять?

— Тогда не прибавляем, — сказал Рёрик, встал и ушёл.

И ничего не случилось. Ни в тот месяц, ни в следующий. Только осенью, когда собрались на весь, оказалось, что у Рёрика все люди заняты и дать сорок он никак не может, а дать может двенадцать, и весь тою зимой дала половину против прошлого, и на Ояти убили двоих из Держикова двора. Держик вернулся без двух людей и на весеннем сходе первым сказал: «Платить надо».

Весной Творимир согласился на пятаю.

Он согласился ночью, дома, при одном Будигосте, и сказал при этом одну вещь, которую Будигост запомнил лучше всего остального в те годы.

— Я всё жду, — сказал отец, — когда он сделает что-нибудь такое, на что я смогу показать пальцем и сказать: вот, он вор. И он ничего такого не делает. Он всякий раз прав. Он прав по одному разу, и всякий раз это маленькая правота, и я всякий раз с ней соглашаюсь. А складываются они во что-то, с чем я бы не согласился никогда, если бы мне это показали сразу.

* * *

Вадим пришёл к нему в июне, в поле, где Будигост смотрел покос.

Он пришёл пешком, один, без пояса — знак, что говорить будет как родня, а не как сосед, — и сел на межу, и долго молчал, и Будигост сел рядом и тоже молчал.

— Он поставил своего на порогах, — сказал наконец Вадим.

— Знаю.

— В ряду сказано «до порогов». Пороги — не до порогов. Пороги — уже дальше.

— Он скажет, что порог — это и есть край, и что нельзя держать край, стоя за версту от него.

— Он так и скажет, — согласился Вадим. — И будет прав. Он всегда прав. Ты заметил?

— Отец заметил.

Вадим сорвал травинку и стал её жевать.

— Нас сейчас сорок один, — сказал он.

— Кого?

— Тех, кто пойдёт. Сорок один со щитом и ещё десятка два, которые придут, когда увидят, что вышло. Мои двадцать два, Держиковы восемь, с Сяси пять, чудских шесть.

— Вейко тебе людей не даст.

— Вейко не даст, — сказал Вадим. — Дадут те, у кого он бусы покупает по своей цене.

Будигост смотрел на покос.

Косили девять человек, и восьмерых он знал по именам, и они были его люди, и в позапрошлом лето он купил им новые косы на серебро, которого без Рёрика не было бы.

— Когда? — спросил он.

— В августе. — Вадим выплюнул травинку. — В августе у него четыре борта уйдут вверх, к кривичам, с товаром. Здесь останется сотня, и половина из них будет на волоке и на порогах. В одну ночь.

— И потом?

— Потом — как раньше.

— Как раньше не будет, — сказал Будигост. — Как раньше — это девять бортов в лето.

— Значит, девять.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Я понимаю, что говорю. — Вадим повернулся к нему, и лицо у него было спокойное, и от этого спокойствия Будигосту стало худо. — Ты считаешь гривны и говоришь: их шестьдесят две, а было восемь. Это верно. Я тоже умею считать. Только я считаю другое. Я считаю, что три года назад я приходил к твоему отцу на сход и говорил, и меня слушали. А теперь я прихожу и говорю, а все смотрят вниз по берегу, туда, где четыре дома, — потому что решает не сход. И меня это не устраивает при любых гривнах.

— Тебя не устраивает, что решаешь не ты.

— Да, — сказал Вадим. — Меня не устраивает, что решаю не я. И тебя тоже, только ты уже привык и называешь это по-другому.

Он встал.

— Я пришёл не звать, — сказал он. — Я знаю, что ты не пойдёшь. Я пришёл сказать, чтобы ты знал заранее, и чтобы после не говорил, что тебя обошли.

— Ты пришёл, чтобы я молчал.

— Я пришёл, чтобы ты выбрал. Это разное.

Он ушёл через поле, наискось, топча покос, и косцы поглядели ему вслед и снова стали косить.

Будигост просидел на меже до темноты.

Он дошёл до развилки: направо был Рёриков двор, налево — дом. Постоял и пошёл налево.

Он не пошёл к Рёрику. Он повторял себе это потом много лет и всегда с одинаковой точностью: он не пошёл к Рёрику, он не послал человека, он вообще ничего не сделал.

* * *

Пир был после жатвы, у Рёрика, и звали всех, и все пришли.

Это тоже вышло само собой — что зовёт Рёрик и что пир у него. Первые два года пиры были у Творимира, потому что двор был больше. Потом Рёрик поставил дом на семьдесят человек, и стало ясно, где удобнее, и никто не спорил, потому что спорить было бы мелко.

Сидели долго. Пили пиво и привозное вино, которое Рёрик открывал два раза в год. Хельги — тот самый, что считал, — теперь ему было лет восемнадцать, и он уже водил один борт, — сидел напротив Будигоста и рассказывал, как в устье Сяси можно ставить перевоз и брать с телег, и что это дало бы за лето гривны четыре, и что четыре гривны — это две зимовки одному человеку, и Будигост слушал вполуха.

Вадим сидел справа, через двоих. Он выпил меньше всех и ел много.

Рёрик поднялся на третий раз, чтобы сказать здравицу хозяевам земли.

Он сказал её как всегда — коротко, назвав Творимира по имени и по отцу, — и все выпили. Потом он не сел.

— Ещё одно, — сказал он.

Стало тише, но не совсем: у дальнего конца ещё смеялись.

— Пятнадцать дней назад, — сказал Рёрик, — в Пелгу к чуди приходили люди и говорили, что осенью на этой реке будет другой хозяин, и звали чудь стоять со щитом. Я хочу спросить у сидящих здесь: кто из вас об этом знал?

Смех у дальнего конца прекратился.

Будигост смотрел в стол.

Он смотрел в стол и знал, что смотреть в стол нельзя, и не мог поднять глаза, и это длилось два вдоха или три.

— Будигост, — сказал Рёрик. — Ты знал?

Он поднял голову.

— Нет, — сказал он.

Он сказал это ровно, и голос не сорвался. Но между вопросом и ответом было то, что было, и Рёрик это слышал, и Вадим это слышал, и — Будигост понял это по лицам — слышали ещё человек десять.

— Хорошо, — сказал Рёрик.

Он повернулся к Вадиму.

— А ты?

Вадим положил нож.

— Я, — сказал он.

И встал.

Дальше было быстро. Двое, что сидели за спиной Вадима — Будигост потом вспоминал, что они сидели там весь вечер и весь вечер не пили, — взяли его за руки, и он рванулся, и был очень силен, и одного отбросил на стол, а второй ударил его в бок ножом снизу, коротко, как бьют по свинье, и ещё раз, и Вадим сел на лавку и стал заваливаться набок, и Держиков сын закричал.

Творимир крикнул: «Стой!» — но никто не остановился. У дверей уже стояли люди Рёрика.

Потом Будигост не мог восстановить порядок. Кто-то опрокинул жаровню. Кто-то из Вадимовых — их было в доме шестеро — перескочил через стол и добежал до дверей, и там его убили. Дым пошёл сразу и густо, потому что в доме было накидано соломы для тепла, и уже никто ничего не видел, и все лезли наружу через один выход и через дыру в стене, которую пробили лавкой.

Будигост вытащил отца. Потом они сидели на земле шагах в двадцати, и Творимир кашлял и не мог остановиться, а перед ними горел дом на семьдесят человек, и от него уже занялись два соседних, и ветер тянул вверх по берегу, к кузне и к клетям, и Будигост встал, потому что дальше по ветру была пристань.

Пристань горела до утра.

Сгорело четыре дома Рёрика, кузня, обе Вейковы печи и его двор, шесть клетей с чужим товаром, тридцать восемь шагов мостков из сорока двух и три лады, стоявшие у мостков. Люди — одиннадцать: шестеро Вадимовых, сам Вадим, двое Рёриковых и двое пришлых, которых никто не знал. Они просто не вышли...

Кто опрокинул жаровню и поджёг, не узнали.

Будигост спрашивал потом всех, кого мог, и слышал четыре разных ответа, и все четыре были правдоподобные.

* * *

Считали на третий день, на голом месте, где были мостки.

Сидели вчетвером: Творимир, Будигост, Рёрик и Асгаут. Вейко не пришёл, потому что у него сгорело всё и он уехал к родне.

Рёрик говорил первым и говорил как человек, у которого убыток.

— Я потерял четыре дома, два борта повреждено, двое людей, — сказал он. — Я потерял двадцать шесть гривен товара в клетях. Часть товара была чужая, и я за неё отвечаю, потому что она лежала под моей охраной.

— Ты потерял, — сказал Творимир. Он говорил хрипло, горло у него после дыма не прошло. — Мы потеряли пристань.

— Пристань я отстрою, — сказал Рёрик. — За два месяца, до ледостава. У меня есть люди, и у меня есть лес на Сяси, и я привезу брёвна с зарубками, как в первый раз. Вы её будете строить до весны и не постройте, потому что у вас плотников шесть.

— Отстроишь, — сказал Творимир. — А чья она будет?

Рёрик посмотрел на него без всякого выражения.

— Скажи ты, — сказал он.

Творимир молчал долго.

— Пусть мостки будут твои, — сказал он наконец. — Пошлину берём мы, как брали.

— Пошлину берём вместе, — сказал Рёрик. — Мой у весов уже стоит. Пусть встанет и второй, с моей стороны, для счёта.

— Тогда это не «мы берём».

— Тогда назови, как это назвать, — сказал Рёрик. — Мне всё равно, как назвать. Мне важно, сколько.

— Сколько?

— Половина с борта.

Будигост услышал, как отец втянул воздух.

— Была пятая, — сказал Творимир.

— Была пятая, пока на этой земле не убивали моих людей на моём пиру, — сказал Рёрик. — Теперь мне нужно держать здесь вдвое больше людей, потому что я больше не знаю, кто у вас со щитом, а кто нет. Вдвое больше людей — вдвое больше корма и платы. Половина.

— Третью.

— Половина с борта, четвертая с волока, как было, и дань с веси и с чуди я беру сам, а вам отдаю пятую с неё, — сказал Рёрик. — Это моё последнее. Спорить будешь три дня или сразу?

Творимир поглядел на сына.

Будигост уже считал.

Он считал в уме, быстро, как считал всегда, и ему было тошно от того, как хорошо он это делает.

Сто девять бортов. Если после пожара станет девяносто — а станет, потому что клетки сгорели и в это лето часть гостей уйдёт зимовать в другое место, — то пошлины будет меньше, и брать из неё двор станет уже не четыре пятых, а половину: было двадцать семь, станет четырнадцать. Тринадцать долой. Он взял остальные тридцать пять — постои, клетки, смолу, верёвку, хлеб, — вычел дань с веси, которая теперь пойдёт мимо них, прибавил пятую, которую Рёрик станет с этой дани отдавать, прибавил на хлебе — хлеба теперь надо будет вдвое, потому что людей у Рёрика будет вдвое, и хлеб покупает он, за серебро, по их цене, — прибавил перевоз, который всё равно придётся ставить, потому что об этом на пиру говорил Хельги и это была хорошая мысль. Убыль и прибыль сошлись почти вровень.

Вышло сорок девять гривен.

Против шестидесяти двух в прошлое лето.

И против восьми в то лето, когда они были сами.

— Соглашайся, — сказал он отцу.

Творимир повернул к нему голову. Он смотрел на сына долго, и лицо у него было такое, будто он собирается что-то спросить, и Будигост очень боялся, что он спросит.

Отец ничего не спросил.

— Согласны, — сказал Творимир.

Рёрик кивнул и встал, и Асгаут встал, и они пошли смотреть, где ставить новые мостки, и по дороге Рёрик остановился, что-то сказал, показывая рукой, и Асгаут засмеялся.

* * *

Жена непустила его в дом: там была её сестра, Вадимова вдова.

Некрас нашёл его вечером на обгорелом настиле.

Будигост сидел там с весами. Весы уцелели, потому что были у него в кошеле, и он их разложил и держал в руках без всякой надобности.

— Отец не встаёт, — сказал Некрас.

— Знаю.

— Он говорит, что теперь всё.

— Он говорит это второй год.

Некрас сел рядом. Ему было девятнадцать, он был на голову выше брата и носил нож так, как носили у Рёрика — сзади, поперёк спины.

— Будда, — сказал он (так его звали в детстве, и он терпеть этого не мог). — Скажи мне.

— Что.

— Вадима убили за то, что он хотел сделать то, что три года назад хотел сделать отец. Отец тогда говорил на сходе: держать устье своими. Я тогда мальчишкой был, а помню. А теперь Вадима зарезали, и мы сидим и считаем гривны, и я не понимаю, где это перевернулось.

Будигост хотел сказать: не отец — Вадим. Отец на том сходе говорил прямо обратное.

И не сказал.

Будигост сложил весы.

И стал объяснять.

Он объяснил, что три года назад отец говорил это, но три года назад приходило девять бортов, и с девяти бортов не наймёшь и десяти человек, а без десяти человек не удержишь устье, а без устья не будет девяти бортов, и что из этого круга своими силами не выходят.

Он объяснил, что Гуннар всё равно вернулся бы, что он и сделал. И что если бы Рёрика тут не было, Ладога досталась бы Гуннару даром и на его условиях, а не по ряду и не за пятую часть.

Он объяснил, что Вадим не считал, а он считал, и что у Вадима был сорок один щит, а у Рёрика двести, и что если бы в августе вышло по-Вадимову, то в сентябре пришли бы четыре борта снизу, и тогда горела бы не пристань, а всё, и не одиннадцать человек, а много больше.

Он объяснил, что Рёрик ни разу — ни разу за три года — не взял ничего сверх того, о чём договорились, и что всякий раз, когда он просил прибавить, он именно просил, и всякий раз объяснял, за что, и всякий раз это было справедливо.

Он объяснил, что сорок девять гривен — это шесть с лишним раз по восемь.

Он объяснил, что отец сам его послал в устье и сам велел торговаться, и что ряд был общий, и что на сходе против были двое, а согласились семеро.

Он говорил не очень долго, потому что говорить было нетрудно: всё складывалось одно к одному, каждое к своему месту, как брёвна с зарубками, которые Рёрик привозил готовыми. И когда он кончил, Некрас кивнул и сказал:

— Ага. Понятно.

И это было хуже всего.

Потому что Будигост услышал себя со стороны — и получилось хорошо. Получился складный рассказ, в котором ничего нельзя было убрать и не за что было ухватиться, и в нём Ладога сама, своей волей, позвала себе сильного человека, чтобы жить лучше, и стала жить лучше, и заплатила за это, сколько стоило, и всё это было чистой правдой от первого слова до последнего.

Он сам поверил бы, если бы не помнил, как молчал два вдоха.

Внизу, на воде, зажгли огни: Рёриковы люди начали заводить сваи под новые мостки, чтобы успеть до ледостава, и работали в темноте, при огне, потому что времени было мало.

— Красиво, — сказал Некрас.

— Да, — сказал Будигост. — Красиво.

Глава вторая. Никто их не звал.

Строка была короткая, и Нестор читал её вслух в четвёртый раз.

— «Похвалим же и мы великого кагана нашей земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава». ²

Он опустил книгу.

— Что слышишь?

— Похвалу, — сказал Даниил.

— Что ещё?

— Что Владимир — сын Святослава, а Святослав — сын Игоря.

— Ещё.

Даниил честно смотрел на строку и не находил в ней ничего, кроме того, что в ней было. Нестору это даже нравилось. Мальчишка не притворялся, что видит, — он говорил, что видит, а когда не видел, говорил, что не видит, и за одно это ему можно было простить и почерк, и то, как он держит нож для очинки пера, и то, что он третью неделю подряд проливает на пол воду, которой разводят чернила.

— Тогда так, — сказал Нестор. — Ты пишешь похвалу князю; её будут читать вслух в новой церкви при нём и при всём дворе. Ты дошёл до места, где надо назвать род. Что ты сделаешь?

— Назову отца, — сказал Даниил. — Потом деда. Потом прадеда.

— Докуда?

— Докуда знаю. — Даниил поднял голову. — Чем древнее род, тем больше похвала.

— Именно, — сказал Нестор. — А здесь дошли до деда и остановились.

Он положил ладонь на страницу.

— Игорь Старый. Дальше — ничего. Ни слова о том, чей он сын. Ни слова о варягах. Ни слова о призвании. Ни слова о Рюрике.

— Может, не поместилось.

— В похвалу всегда помещается то, что хвалят, — сказал Нестор. — Не помещается только то, чего нет.

Он закрыл книгу и стал греть руки над жаровней, потому что пальцы к третьему часу переставали слушаться, и с этим ничего нельзя было сделать, кроме как греть.

Шла шестая седмица поста, и в келье стоял тот особенный холод конца марта, который хуже январского. Январский чистен, а этот приходит из-под пола вместе с сыростью и делает пергамен мягким и непослушным.

У стены, на подложенных досках, лежали шестьдесят три выделанные кожи, привезённые от владимирского кожевника. Нестор знал, сколько кун и резан за них отдали, и знал: испорти он хотя бы одну, игумен придёт спрашивать.

— Отче, — сказал Даниил. — А кто такой Рюрик?

Нестор посмотрел на него.

— Вот, — сказал он. — Об этом мы и говорим.

* * *

² «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона — торжественная похвала князю Владимиру Святославичу, написанная в Киеве в середине XI века.

Игумен Прохор пришёл после третьего часа и сразу закрыл за собой дверь, что было плохим знаком: обычно он оставлял её открытой, чтобы показать, что говорит не тайное.

— С Берестова³, — сказал он и положил на стол сложенный лист. — За тобой пришлют лошадь. Сказано — в третьем часу пополудни, если распутица позволит.

Нестор развернул лист. Там было три строки, писанных хорошей рукой, и подпись княжьего дьяка.

— Тудор писал, — сказал Прохор.

— Знаю.

— Ты его знаешь?

— Я его не знаю, — сказал Нестор. — Я знаю руку. Он писал уставную грамоту на луга, ту, из-за которой мы судились с Выдубицким⁴.

Прохор сел на лавку и некоторое время молчал, шевеля пальцами по колену. Ему было под пятьдесят, он был хозяйственный, неглупый и вечно усталый человек, и монастырь⁵ при нём стал богаче, чем при Феоктисте⁶, и все это признавали, и никто его за это не любил.

— Отче, — сказал он наконец. — Я тебя прошу об одном.

— Я слушаю.

— Не спорь с ним.

Нестор промолчал.

— Я не о правде говорю, — сказал Прохор⁷ быстро. — Я не прошу тебя лгать, я такого никогда не просил и не попрошу. Я прошу не спорить. Ты будешь говорить своё, он будет говорить своё, и ты уступишь там, где можно уступить, а где нельзя — там просто промолчишь и подумаешь, а через неделю скажешь то же самое другими словами, и он согласится, потому что решит, что сам придумал. Так с ним и надо. Так с ним все и делают.

— Кто — все?

— Все, кто у него служит двадцать лет, — сказал Прохор. — И живы.

Он поднялся, дошёл до двери и там остановился.

— И ещё. Сильвестр⁸ был у него дважды в этот пост.

— Выдубицкий?

— Выдубицкий.

— По какому делу?

— Мне не сказали, — сказал Прохор. — Но пергамен на Волыни в этот год покупали двое: мы и он. Он взял сорок кож.

Он вышел, и Нестор долго смотрел на закрытую дверь.

Сорок кож. Это была не грамота, не устав и не житие. Сорок кож — это книга.

* * *

Ехали шагом, потому что иначе было нельзя.

Перед Берестовом Нестор велел свернуть в город: в митрополичьей палате надо было забрать список Иакова.

Киев в конце марта был весь чёрный и жёлтый: чёрный от мокрого дерева и жёлтый от глины, вылезшей из-под снега, и по Боричеву спуску текла вода, и три бабы стояли по щиколотку в этой воде и о чём-то ругались с возчиком, застрявшим поперёк.

³ Берестово — княжеская загородная резиденция близ Киева, на холмах над Днепром; во времена Мономаха там стоял его двор.

⁴ Княжеский Михайловский монастырь в Киеве, основанный Всеволодом Ярославичем около 1070 года; в эпоху Мономаха он был заметным соперником Печерской обители.

⁵ Киево-Печерский: крупнейшая киевская обитель, основанная в XI веке у пещер над Днепром

⁶ Игумен Киево-Печерского монастыря в 1108–1112 годах; затем стал епископом Черниговским

⁷ Прохор - преемник Феоктиста, игумен Печерского монастыря с 1112 года.

⁸ Игумен Выдубицкого монастыря и летописец

Нестор ездил из монастыря в город раз в два месяца и всякий раз находил, что город стал другим, и всякий раз не мог сказать, в чём.

В этот раз он мог.

Проехали место, где стоял двор Путяты Вышатича⁹. Двора не было — было ровное, заросшее прошлогодним бурьяном пятно, и по краю его уже поставили две новые клетки, чужие. Тысяцкого разграбили в тот год, когда умер Святополк и в городе три дня жгли и били, — сперва пошли на Путятин двор, потом на дворы сотских, городских старших, и на еврейские, а дальше грозили боярам и монастырям, и тогда бояре послали в Переяславль звать Владимира, а Владимир два дня не ехал, а на третий приехал.

Нестор помнил эти три дня. Он их всю жизнь помнил тем, как в монастыре тогда прятали в подполе книги, а не сосуды.

— Отче, — сказал Даниил (его взяли, потому что нужно было кому-то нести короб), — а правда, что его звали?

— Кого?

— Князя. Что его позвали, а он не хотел.

— Правда, — сказал Нестор. — Звали. Дважды.

— А зачем не хотел?

— Затем, что было не по ряду, — сказал Нестор. — Он не был старший. По отчему ряду киевский стол шёл не к нему.

— А он всё-таки сел.

— Он сел, — сказал Нестор, — потому что город горел, а другого никто бы не послушал. Даниил обдумал это.

— Значит, всё-таки позвали, — сказал он.

Нестор посмотрел на пустое место, где был двор Путяты, и ничего не ответил.

* * *

На Берестове было тепло до духоты.

Это первое, что Нестор понял, войдя: князь топил как больной. В горнице стояли две жаровни и печь, и от печи шёл сухой жар, и старик, сидевший у стола, был в кожухе поверх летнего платья, и на ногах у него, под столом, лежала овчина.

Владимиру Всеволодовичу шёл шестьдесят третий год. Он был большой, сутулый, с тяжёлыми плечами и коротко стриженной головой, и лицо у него было такое, какое бывает у людей, которые сорок лет спали в поле: обветренное до кирпичного цвета и совершенно спокойное. Ноги у него не ходили — точнее, ходили, но недалеко и не всякий день, и весь Киев знал, что зимой он не встаёт по три недели, и весь Киев делал вид, что не знает.

Он не дал благословить себя сразу и не позволил Нестору стоять.

— Садись, — сказал он. — Ты старше меня на семь лет, я считал. Стоять будешь в церкви. Нестор сел.

Кроме них, в горнице был Тудор — сухой человек лет сорока пяти, сидевший в углу с доской на коленях, — и княжий мальчик, подкладывавший в жаровню.

— Пиши, — сказал князь Тудору, — что было, а разговор не пиши.

Тудор кивнул.

Владимир повернулся к Нестору.

— Ты «Житие Феодосия»¹⁰ писал?

— Я.

⁹ Киевский тысяцкий, глава городской военной и административной власти, из знатного рода Вышатичей. В 1113 году киевляне разгромили его двор во время восстания после смерти Святополка; это один из первых знаков смены власти перед приходом Мономаха.

¹⁰ Сочинение Нестора о втором игумене Киево-Печерского монастыря, Феодосии (ум. 1074)

— Я его читал трижды, — сказал князь. — Хорошая книга. Врёшь ты в ней в одном месте.

Нестор почувствовал, как у него холодеет в животе, и удивился этому: он не думал, что в семьдесят лет ещё способен так пугаться.

— В каком?

— Там, где братия ропщет, а он их укрощает кротким словом, и они каются. — Владимир хмыкнул. — Я двадцать лет держу дружину. Кротким словом никто никогда ни от чего не отказался. Он их чем-то додавил, а ты не написал чем.

— Он их додавил тем, — сказал Нестор, — что был готов уйти сам.

— Вот. — Князь поднял палец. — Это и надо было написать. Это страшная вещь и всякому понятная. А кроткое слово — не понятно никому.

Он подвинул к себе чашу с чем-то тёплым, отпил и поставил.

— Ладно, — сказал он. — Теперь о деле.

Он говорил долго, и говорил не о книгах.

Он говорил, что Глеб Минский не хочет склониться и что Глеб — не беда, беда после Глеба. Что Ярослав на Волыни сидит и молчит, а молчание его хуже крика. Что Святославичи держат Чернигов и Новгород-Северский и считают, что Киев — их отчина, и они в этом не то чтобы неправы. Что на Любече, семнадцать лет назад, положили ряд: пусть каждый держит отчину свою, — и это был хороший ряд, и Нестор, наверное, помнит, чем он кончился.

— Помню, — сказал Нестор.

Он помнил. Едва разъехались из Любеча, Василька Теробовльського¹¹ позвали обедать и ослепили ножом на чужом дворе.

— Ряд был хороший, — сказал Владимир. — Он не сработал по одной причине. Он говорит: держи отчину. А отчина — это то, что держал твой отец. А если твой отец держал не то, что дед? А если дед сел не по ряду, а потому что старший умер не вовремя? А если прадед вообще сел с мечом? Тогда всякий может сказать: твоя отчина не отчина, ты сидишь по случаю, а я по праву.

Он положил обе ладони на стол.

— И всякий говорит. Каждое лето. Я это слышу двадцать пять лет и уже не слушаю, я сразу считаю коней. — Он поднял голову. — Отче. Я не о себе. Мне шестьдесят два, я сяду, где посадят. Я о том, что после меня их будет восемь, а через сорок лет — тридцать, и каждый спросит: по какому праву? И если у всего рода нет одного начала, к которому все могут вернуться и сказать «вот отсюда», — то они будут спрашивать друг у друга всегда, и всякий раз ответом будут кони.

— И ты хочешь, — сказал Нестор, — чтобы я написал начало.

— Я хочу, чтобы ты его нашёл, — сказал Владимир. — Написать я и сам умею.

* * *

Нестор помолчал столько, сколько требовалось, чтобы это не выглядело поспешностью.

— Княже, — сказал он. — Я должен сказать тебе сразу, пока ты не потратил на меня лето. У меня нет начала.

— Как это нет? У всякого рода есть первый. Мёртвый, забытый — всё равно первый.

— Так, что я его не нашёл, — сказал Нестор. — Я работаю над этим не первый год. Я собрал, что мог. У меня есть договоры с греками, три штуки, списанные с тех, что лежат в митрополичьей палате. У меня есть киевские повести о Владимире и о Ярославе. У меня есть

¹¹ Василько Ростиславич — князь Теробовльський, участник Любечского съезда. Почти сразу после съезда, в 1097 году, его по приказу Давыда Игоревича схватили и ослепили; это предательство разрушило мир, заключённый в Любече.

новгородские тетради. У меня есть то, что мне рассказывал Ян Вышатич¹² за два года до смерти, а Ян помнил своего деда, а дед его помнил Ярослава молодым. У меня есть греческие хронографы¹³. И у меня нет начала.

— Что у тебя есть вместо него?

— Разное, — сказал Нестор. — И оно не сходится.

Владимир откинулся к стене.

— Начни с чего-нибудь одного.

Нестор кивнул Даниилу. Тот открыл короб и подал книгу — большую, в потемневшей коже, с двумя застёжками, из которых одна была новая.

— Ты это знаешь, княже.

Владимир взял книгу и, не открывая, положил перед собой.

— Иларион¹⁴, — сказал он. — Читал в двенадцать лет, отец заставлял учить наизусть куски.

— Он писал её при твоём деде и для твоего деда, — сказал Нестор. — Он был поп на Берестове, вот тут, шагах в трёхстах отсюда. Потом стал митрополит. Он был человек учёный, из первых, и он писал похвалу, которую читали вслух в Софии при всех.

— И что?

— И в ней есть родословие.

Нестор раскрыл книгу — он знал место наизусть и на ощупь — и прочёл вслух, медленно, как читают в церкви:

— «Похвалим же и мы великого кагана нашей земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава».

Он поднял глаза.

Владимир смотрел на него и ждал продолжения.

— Это всё, — сказал Нестор.

— Что — всё?

— Всё родословие. Владимир, Святослав, Игорь. И на Игоре оно кончается.

Князь взял книгу к себе, нашёл строку сам — он читал не быстро, ведя пальцем, — прочёл про себя и стал искать дальше по странице. Он листал вперёд, потом назад. Нестор смотрел, как он листает, и молчал.

— Дальше он хвалит Ольгу, — сказал Нестор. — Бабку. Хорошо хвалит, сильно. И на этом весь род.

Владимир закрыл книгу.

— Нет Рюрика, — сказал он.

— Нет Рюрика.

— Может, он его не знал?

— Княже, — сказал Нестор. — Это невозможно. Это учёный человек, пишущий в Киеве похвалу князю в присутствии его сына. Он перечисляет предков, чтобы возвеличить. Ему нужно, чтобы род был древний. Если бы был предок древнее Игоря — предок, к тому же пришедший из-за моря, званный на княжение, родоначальник, — Иларион начал бы с него. Это первое, с чего он начал бы. Он бы на этом построил всю похвалу: вот, мол, издревле, от славного корня.

— Может, он писал коротко.

¹² Ян Вышатич — киевский боярин и воевода, один из главных устных источников Нестора. Он умер в 1106 году; летописец записывал с его слов рассказы о событиях XI века.

¹³ Византийские всемирные хроники: книги, излагавшие историю от сотворения мира до времени автора. На Руси их читали в славянских переводах.

¹⁴ Первый митрополит Киевский из русских, книжник середины XI века. Его «Слово о законе и благодати» — торжественная проповедь о крещении Руси и похвала князю Владимиру Святославичу.

— Он писал длинно, — сказал Нестор. — Она вся вот такая. Он ничего не сокращал.

— Может, он его не любил, — сказал Владимир. — Варяг, чужой, а он о нашей земле пишет.

Нестор чуть наклонил голову.

— Это возможно, — сказал он. — Это первое веское возражение, княже. Я его сам себе делал. Иларион первый из русских на митрополии, и он пишет о том, что благодать пришла и к нам, и ему могло быть неприятно начинать род от заморского. Могло.

— Ну вот.

— Но тогда он назвал бы Игоря просто Игорем, — сказал Нестор. — А он называет его Старым.

Владимир поднял брови.

— И что?

— Старым часто зовут того, за кем память обрывается, княже. Я не встречал, чтобы человека прозвали Старым за то, что он чей-то сын. Это не доказательство. Это след.

В горнице стало слышно, как в печи оседают угли.

Тудор в углу перестал писать. Нестор не поворачивался к нему, но услышал, что перестал.

— Есть ещё Иаков, — сказал Нестор. — Мних. В списке, который ему приписывают, он хвалит Владимира и хвалит Ольгу, и тоже начинает с Игоря. И тоже без Рюрика. Двое, княже. Оба в Киеве, оба учёные, оба за сто лет до нас, и ни один из них не знает того, что, как мы говорим, знали все.

— А кто тогда знает?

— Северные, — сказал Нестор. — Новгород знает. Ладога знает. Там имя помнят твёрдо.

— Ну так и хорошо.

— Хорошо, — согласился Нестор. — Только они помнят имя. Они не помнят, чей он отец.

* * *

Владимир велел подать ещё углей и сидел, глядя в жаровню.

— Тогда объясни мне другое, — сказал он. — Если Рюрика не было — откуда варяги? Не с неба же они взялись. Мой прадед Владимир ходил за море за варягами, дед Ярослав ходил, я сам их нанимал в молодости и знаю, почём. Русь — от них имя. Это все говорят, и греки говорят, и в договорах их имена. Значит, они пришли. Как?

— Пришли, — сказал Нестор. — Об этом есть.

— Так рассказывай.

— Это не книга, княже. Это тетради, которые мне привёз новгородец. Он не сам их писал, он собрал, что помнят по Волхову старые дворы. Люди там ведут счёт своим дедам лучше, чем мы, потому что у них с дедов идёт доля с перевоза, и её надо помнить точно.

— Как его зовут?

— Гюрята Рогович¹⁵.

Владимир кивнул:

— Знаю. Он у Мстислава ходит за Печору, за мехом. Врун?

— Врун, — сказал Нестор. — Про самоедь врун, про полные земли врун: там у него люди заклёпаны в горе и просят железа. А про Волхов не врун, потому что там его самого поймают.

— Ладно. Что там?

Нестор рассказал.

¹⁵ Реальный новгородец, один из источников Нестора. В «Повести временных лет» Нестор прямо пишет, что услышал от него рассказ о дальних северных землях.

Он рассказывал ровно и без нажима, стараясь не выпустить ни одной подробности с числами, потому что чувствовал: князя убедят только числа.

Что варяги брали дань на Волхове давно, задолго до всякого призвания, и брали её не как князья, а как берут те, кто сильнее. Что однажды местные дворы, сговорившись, их выбили — не всех варягов на свете, а тех, что сидели у них, и что предводителя тех звали в тетрадах Гуннар. Что после этого пришло хорошее: дань перестали платить. И пришло плохое: гости перестали ходить.

— Почему? — перебил Владимир.

— Потому что от моря до порогов четыре ночёвки, — сказал Нестор, — и на каждой можно потерять ладью. Пока сидел Гуннар, он брал треть, но он же и вешал тех, кто грабил. Прогнали Гуннара — стало не с кого спрашивать. И гость пошёл другой дорогой.

— Двиной, — сказал Владимир.

— Двиной. Три года они считали убыток. В тетради есть числа: было пятьдесят с лишним людей в лето, стало девять. И тогда старейшины одного двора — не земля, княже, не племя, один двор и с ним ещё пять или шесть, — послали к другому варягу, которого знали в лицо и с которым торговали десять лет, и позвали его сесть у них. И положили ряд: пятая доля с лодьи ему и четвёртая с волока, зимовка на их земле, а он держит дорогу от моря до порогов и отвечает за то, что на ней случится.

— Пятая — мало.

— Он тоже так сказал, — сказал Нестор. — На том и сторговались.

Князь усмехнулся — коротко, одним углом рта.

— Дальше.

— Дальше он сел, — сказал Нестор. — И первое, что сделал, — повесил двоих своих за то, что взяли с гостя сверх ряда. И об этом рассказывали по всей реке два года. И гость вернулся. В третье — нет, во второе лето, — поправился он, — прошло больше ста людей, и они считали и не верили.

— Умный, — сказал Владимир.

— Умный, — согласился Нестор. — Потом он стал прибавлять. Не сразу и не грубо. Всякий раз он приходил и говорил: вот за это я тоже должен брать, и вот почему. И всякий раз это было справедливо. Своего человека к весам — чтобы видеть, из чего считают его пятаю. Потом своего на порогах, хотя в ряду стояло «до порогов», — потому что нельзя держать край, стоя от него за версту. Потом долю с дани, что они брали с чуди, потому что чудь платит, зная, что за ними стоит он. Потом ещё. Через три года у них был свояк одного из старейшин, который сказал, что довольно, и собрал сорок один щит.

— И?

— И его зарезали на пиру, — сказал Нестор. — И в ту же ночь сгорела пристань. Кто её поджёг, в тетради не сказано.

— А после?

— А после сели считать, — сказал Нестор. — И он взял половину с лодьи вместо пятой. И они согласились.

— Почему?

— Потому что половина от ста людей больше, чем всё от девяти, — сказал Нестор.

Владимир долго молчал. Угли в жаровне осели, и стало видно, что козуха он так и не снял.

Потом сказал — не Нестору, а куда-то в стену:

— Я такие ряды кладу четыре раза в год.

— Княже?

— С половцами, — сказал он. — С Аепой¹⁶, с Осенем¹⁷, теперь с молодыми. Ровно так же. Он приходит, я даю ему держать край по Суле¹⁸, даю дары, беру дочь его сыну. И первый год он честно бьёт всякого, кто пойдёт мимо него на мои сёла, — потому что это его сёла теперь. А на третий год он говорит: дай ещё, у меня коней больше стало. И я даю, потому что дать дешевле, чем воевать. — Он повернул голову. — И у меня тоже был свояк, который сказал, что довольно.

Он не сказал, что стало со свояком, и Нестор не спросил.

— Значит, так, — сказал Владимир. — Никто их не звал.

— Звали, княже.

— Не земля их звала.

— Не земля, — сказал Нестор. — Их звал один двор против другого двора. И то не княжить. Их звали сторожить дорогу за пятую часть.

— А кончилось тем, что они сели.

— Кончилось тем, что они сели.

Владимир посмотрел на свои руки.

— Значит, нас взяли, — сказал он.

Нестор мог смягчить. У него было готово четыре способа смягчить, и все четыре он знал наизусть, потому что тридцать лет писал жития и умел это лучше, чем что-либо другое на свете.

— Значит, нас взяли, — сказал он.

* * *

Тишина длилась, наверное, сорок ударов сердца.

Княжий мальчик подошёл было к жаровне и, поглядев на князя, отошёл обратно к стене.

Потом Владимир сказал — спокойно, буднично, как говорят о переносе сроков:

— А если написать, что позвали?

Нестор поднял голову.

Он много раз потом возвращался к этому мгновению и всякий раз не мог себе объяснить, почему сразу не сказал «нельзя». Слово было готово, и оно было правильное, и он двадцать раз произносил похожие слова в исповедальне.

Он спросил:

— Кто позвал, княже?

— Что значит — кто?

— Это первое, что спросит всякий, кто станет читать, — сказал Нестор. — Если написать «позвали», то читающий спросит: кто именно позвал? Двор Творимира и с ним пять дворов на Волхове — это не «позвали». Это ряд между людьми. Такое пишут в грамоте, а не в книге о начале княжеской власти. В книге должен быть кто-то, кто может звать.

— Земля.

— У земли нет рта, княже.

— У земли есть старшие, — сказал Владимир. — Собрались старшие и решили.

— Кто собрался?

Владимир пожал плечом:

— Словене. Кривичи. Чудь. Весь. Кто там ещё по тем местам.

— Все четыре разом?

— А что?

¹⁶ Половецкий хан, с которым Владимир Мономах породнился: его дочь была выдана за сына Мономаха Юрия Долгорукого.

¹⁷ Половецкий хан, отец Аепы; в летописи Аепу называют Осеневичем.

¹⁸ Левый приток Днепра, пограничная река между Русью и половецкой степью. На её рубеже стояли города и крепости, защищавшие южные земли Киева от набегов.

— Княже, — сказал Нестор осторожно, — чуди и словене в те годы били друг друга каждую вторую зиму. Кривичи сидят от Полоцка до Смоленска, это двадцать дней пути от Ладоги. Весь — по Ояти и дальше, они и сейчас по-своему говорят. Как они собрались? Где? Кто их созвал? Кто говорил от чуди?

Владимир слушал внимательно и, когда Нестор кончил, кивнул.

— Понял, — сказал он. — Ты думаешь, я не знаю, как это бывает. Ты сейчас скажешь, что четыре языка не сядут за один стол.

— Я это и говорю.

— А я сидел, — сказал Владимир. — На Любече нас было шестеро, и трое хотели убить друг друга, и двое уже пробовали. И мы сели, и положили ряд, и целовали крест, и разъехались, и не успели доехать по домам — ослепили Василька. — Он подался вперёд, и было видно, что ему больно двигаться, но он подался. — Ряд был? Был. Записали его? Записали. Он был правдой в тот день? Был. То, что он не устоял, не значит, что его не было.

— Вас было шестеро, — сказал Нестор. — И вы были родня, и говорили на одном языке, и всех вас созвал ты.

— И что?

— И то, княже, что съезд бывает тогда, когда есть кому созвать. Ты созвал Любеч, потому что ты Владимир Всеволодович и тебя послушали. А кто созвал бы чуди и словен?

Владимир помолчал.

— Тот, кому хуже всех, — сказал он.

Нестор открыл рот и закрыл.

— Так и бывает, — сказал князь. — Я тебе как воевода говорю. Никого никогда не созывает сильный: сильному съезд не нужен, он и так возьмёт. Съезд собирает тот, кто больше всех теряет. Ты сам сказал: у них было пятьдесят людей, стало девять. Значит, они разорались. Значит, кто-то первый сказал: так больше нельзя. Значит, послали друг к другу и сговорились. Дальше вопрос только в том, сколько дворов сговорилось — шесть или шестьдесят. И этого никто уже никогда не узнает.

— Шесть, — сказал Нестор.

— Ты этого не знаешь.

— Я знаю, что в тетради шесть.

— В тетради, — сказал Владимир, — которую записал врун про людей в горе со слов внуков тех шести. Отче. Ты думаешь, они бы вспомнили тех, кто был против? Ты думаешь, они бы вспомнили соседний двор, который тоже посылал, только не сговорился? Каждый род помнит, что решал он.

И вот это, подумал Нестор, было верно.

Это было настолько верно, что он не нашёл ответа сразу, и, пока искал, князь уже пошёл дальше.

— И потом, — сказал Владимир, — ты не о том споришь. Ты споришь, сколько было дворов. А меня не занимает, сколько их было. Меня занимает, зачем они это сделали.

— Затем, что разорались.

— Вот. — Владимир хлопнул ладонью по столу, и Тудор в углу вздрогнул. — Вот это и надо написать. Не то, что они добрые и любят князей. А то, что без ряда не живут. Что они пробовали сами и у них не вышло, и они сами это увидели, и сами позвали, потому что иначе — нищета и нож в спину на четвёртой ночёвке.

Он перевёл дух. Ему было трудно говорить долго.

— Земля у нас, — сказал он, — велика и обильна. Всего в ней вдоволь: и хлеба, и меха, и рыбы, и людей. А наряда в ней нет. Никакого. Не потому, что люди плохи, а потому, что всяк тянет к себе, и нет над ними никого, кто рассудит. И это, отче, я тебе говорю не про Волхов и

не про древние времена. Это я тебе про нынешний год говорю. Про Волынь и про Чернигов. Поезжай в Дорогобуж и посмотри, велика ли там земля и много ли в ней наряда.

Он замолчал.

Нестор сидел неподвижно.

Он услышал это как строку. Не как мысль, не как довод, а именно как строку — с ходом, с падением на конце, с той краткостью, которая держит вслух. Он повторил её про себя, как проверяют на слух чужой стих: велика — обильна — а наряда нет. Три удара и обрыв. Он услышал, что её можно поставить в книгу и что она в книге сядет, как влитая, и что всякий, кто её прочтёт через сто лет, поймёт разом всё: почему нужен князь, почему его позвали и почему это не позор, а разум.

Он подтянул к себе вошаницу и написал два слова, чтобы не забыть.

Он сделал это раньше, чем подумал, что делает.

* * *

— Ну, — сказал Владимир. — Что молчишь?

— Думаю, княже.

— О чём?

— О том, — сказал Нестор, — что если написать так, то этого уже не выпишешь из книги обратно.

— Не понял.

— Пока это тетради, — сказал Нестор, — их читают трое, и всякий, кто прочтёт, может спросить: а откуда ты знаешь? Как только это станет книгой и её начнут списывать — через пятьдесят лет её будут читать в Новгороде, в Смоленске, в Полоцке, у наших на Святой горе. И никто уже не спросит, откуда я знаю. Будет написано — значит, так и было. Списки разойдутся, а тетради сгниют. Я это видел своими глазами трижды.

— И что?

— И то, княже, что я боюсь не сказать неправду, — сказал Нестор. — Неправду говорят каждый день, и она живёт до вечера. Я боюсь сказать её так, чтобы после меня её нельзя было проверить.

Владимир смотрел на него без раздражения.

— Понимаю, — сказал он. — Теперь послушай меня.

Он подождал, пока Нестор поднимет глаза.

— Ты боишься за тех, кто будет через сто лет. Это хорошо, я это уважаю, у меня самого сыновей шестеро и внуков не знаю сколько, я тоже иногда о них думаю. А теперь скажи: что они получают от твоей правды?

— Правду и получают.

— Нет, — сказал Владимир. — Они получают вот что. Они прочтут, что род их пошёл от людей, которые пришли из-за моря брать долю с людей, и брали, и ввали, и резали на пиру, и брали больше, и что земля их не выбирала, а не сумела от них избавиться. И знаешь, что они с этим сделают?

— Скажи.

— Ничего они с этим не сделают, — сказал князь. — Они это прочтут один раз, пожмут плечами и пойдут дальше. А вот сосед их прочтёт дважды. И сосед скажет: если тех взяли силой, то и этих можно силой, потому что нет тут никакого права, а есть только кто кого. И будет прав. — Он ткнул пальцем в стол. — Отче, ты пишешь не о прошлом. Ты пишешь то, чем будут отвечать через сто лет, когда придут спрашивать по какому праву. Если ты напишешь «по праву силы», — значит, ты вооружил всякого, у кого сила.

— А если я напишу «по праву призвания», — сказал Нестор, — я вооружу всякого, кто скажет: раз позвали — можно и отозвать.

Он сказал это раньше, чем успел взвесить.

В горнице стало очень тихо.

У двери Даниил перестал скрести ногтем по коробу.

Тудор в углу медленно, очень медленно поднял голову.

Владимир Всеволодович сидел неподвижно, и лицо у него не изменилось ни на волос, и Нестор с полной ясностью понял, что сказал вслух то, за что в этом городе, в этой горнице, при этом писце говорить не следовало.

Потом князь засмеялся.

Он смеялся коротко, сипло, и было слышно, что смеяться ему тоже больно.

— Вот, — сказал он. — Вот теперь я вижу, что ты не дурак. Тудор, этого не пиши.

— Я и не пишу, — сказал Тудор.

— Ты пишешь.

— Я пишу, что беседовали о начале княжения.

— Так и пиши.

Владимир вытер глаза тыльной стороной кисти.

— Ты прав, — сказал он Нестору уже без смеха. — Обоюдоострое. Всё обоюдоострое, отче, у меня в жизни не было ни одной вещи, которая рубила бы в одну сторону. — Он подумал. — Ну так и напиши так, чтобы отозвать было нельзя.

— Как?

— А это уж твоё дело, — сказал князь. — Я тебе задачу поставил, а не решение. Я не книжник.

* * *

Отпустил он его уже в темноте.

Уходя, Нестор задержался на пороге.

— Княже. Позволь спросить.

— Спрашивай.

— Сорок кож пергамена, купленных в этот пост на Волынь для Выдубицкого монастыря, — сказал Нестор. — Это твой заказ?

Владимир поглядел на него из-под бровей.

— Мой, — сказал он.

— И что там будет?

— То же, что у тебя, — сказал князь. — Отче, ты знаешь, что я делаю, когда мне надо перевезти казну? Я посылаю два обоза разными дорогами. Не потому, что не верю возчикам. Потому что дороги две, а казна одна.

— И какой обоз дойдёт?

— Тот, который дойдёт, — сказал Владимир. — Иди. Тебя ждут внизу.

* * *

Сильвестра он встретил во дворе, у коновязи, и понял, что тот ждал.

Выдубицкий игумен был крепкий человек лет пятидесяти пяти, с широким крестьянским лицом и очень внимательными глазами, и кожух на нём был тоньше Несторова и подбит мехом, но мех наружу не показывался.

— Отче Несторе, — сказал он и поклонился первым, как младший старшему, и сделал это без всякой издёвки. — Долго. Он тебя два часа держал?

— Три.

— Меня в тот раз держал час, — сказал Сильвестр. — Значит, ты ему нужнее.

— Или ты понятнее.

Сильвестр улыбнулся:

— Или так.

Он придержал стремя, пока Даниил помогал старику влезть на лошадь, — и это тоже было сделано просто, без нажима, и оттого особенно неприятно.

— Отче, — сказал Сильвестр снизу. — Я тебе одно скажу, а ты подумай на досуге. Мы с тобой сейчас будем делать одно дело в двух местах, и я не хочу, чтобы вышло глупо. Ты человек учёный, ты найдёшь такое, чего я не найду, я это признаю прямо. А я найду то, что ты пропустишь.

— Что же?

— Что книгу должен кто-то дочитать до конца, — сказал Сильвестр. — Ты пишешь так, будто её будут разбирать. А её будут читать. Разбирать её будут двое на сто лет, а слушать — всякий двор, куда дойдёт список. Хорошо бы, чтобы дослушали до конца.

Он отступил на шаг и опять поклонился.

— Помолись за меня, — сказал он. — Я за тебя молюсь.

* * *

Ехали обратно уже в полной темноте, с двумя провожатыми и с факелом, и на Боричевом лошади оступилась, и Даниил всю дорогу молчал, а у самых ворот не выдержал.

— Отче.

— Ну.

— Он же хочет, чтобы ты написал неправду.

— Он хочет, — сказал Нестор, — чтобы я написал то, что нужно. Он думает, что это одно и то же, потому что он никогда в жизни не видел, чтобы правда была нужна. Ему шестьдесят два года, и все шестьдесят два в его земле резали друг друга, и всякий раз тот, кто резал, объяснял это правдой.

— А ты напишешь?

Нестор не ответил.

В келье было холодно, как утром, и жаровня погасла. Даниил стал разжигать, а Нестор сел к столу и достал из рукава вошаницу.

На воске было нацарапано наспех, косо, его собственной рукой:

вел. и обил., а наряда нет

Он смотрел на это долго.

Правильно было стереть. Это была даже не запись — это была чужая речь, брошенная в разговоре, и ни в одном списке, ни в одной тетради, ни в одном предании такого никто никогда не говорил, и он это знал.

Он взял костяное острие, повернул его тупым концом, каким заглаживают воск, и поднёс.

И положил обратно.

— Отче, — сказал Даниил от жаровни, — тебе света прибавить?

— Прибавь, — сказал Нестор.

Глава третья. Узлы.

Верёвка была тонкая, льняная, в полтора локтя, и на ней было завязано девятнадцать узлов.

Хельги пропускал её сквозь пальцы в темноте и считал.

Первый узел — Нева, от моря до озера. Второй — Любша. Третий — пристань. Четвёртый, пятый и шестой — три порога на Волхове, где надо разгружаться и тянуть. Седьмой — озеро Ильмень и Городище над ним. Восьмой — устье Ловати. Дальше шли узлы, которых он не видел своими глазами: волок с Ловати, волок на Двину, ещё волок, потом верховья той реки, что течёт вниз к грекам, потом кривичский торг, потом Любеч, потом Киев.

Девятнадцатый узел он завязал наугад, потому что не знал, сколько там ниже Киева.

Он делал так третью зиму. Верёвка лежала у него под изголовьем, и всякую ночь, просыпаясь между вторым и третьим сном, он проходил её от конца до конца пальцами, и всякий раз она была короче, чем дорога, и всякий раз он это чувствовал, наполняясь какой-то горькой досадой.

За стеной кто-то кашлял. Кашляли в этом доме уже почти месяц третья часть людей, и двое уже умерли.

Хельги завязал двадцатый узел, подержал и развязал обратно.

Рёрика похоронили в сентябре.

Умер он не в бою и не от болезни: упал с настила, ставя новую клеть, и лежал до седьмого дня: на шестой перестал говорить, на седьмой умер. Ему было под семьдесят, и он до последнего лазал по настилам, потому что не верил плотникам.

Сжигать его не стали — положили в яму под насыпь на левом берегу, как хотел, и над ним поставили камень. На тризне было триста человек, и никто не подрался, и Хельги счёл это плохим знаком: когда не дерутся, значит, уже поделили.

Поделили так.

Ингвальд, старший сын, взял пристань и долю с лодей. Ульв, младший, взял волок и первый порог. Асгаут-кормчий, простояв на тризне до утра и не сказав ни слова, весной ушёл на двух бортах к морю и не вернулся, и с ним ушло шестьдесят человек, из которых сорок были лучшие.

Хельги не взял ничего.

Ему предложили Сясьский перевоз, потому что он его когда-то придумал, — и он взял перевоз и молчал год.

За этот год через Ладогу прошло сорок одно судно.

Он помнил число точно, потому что считал сам, как считал всё: сто тридцать два в последнее лето Рёрика, девяносто в первое лето после, сорок одно во второе.

Причина была не в том, что Ингвальд был глуп. Ингвальд был неглуп. Причина была в том, что Ингвальд держал пристань, а Ульв держал волок, и Ульв стал брать с проходящих больше, потому что доля с лодей шла не ему, а брату; и когда Ингвальд снизил свою пошлину, чтобы вернуть гостей, Ульв тут же поднял свою, потому что теперь у гостей осталось больше в кошеле. Потом Ульв поставил своих на втором пороге тоже. Потом ильменские, увидев, что сверху никто не отвечает, стали брать на Мсте. Потом появились люди, которых никто не знал, на острове в истоке Невы.

К осени второго года гость шёл на Волхов только тот, кто не мог иначе.

Остальные шли на Волгу.

Вот это Хельги считал главным и вот этого не понимал никто из тех, с кем он об этом говорил. Серебро приходило с юга и с востока, от арабов, через болгар, и его было столько, сколько было; и оно текло туда, где дешевле. Если по Волхову идти дорого и страшно, оно пойдёт Волгой к болгарам и хазарам — и уйдёт вовсе, и на Волхове не станет ни серебра, ни гостей, ни хлеба, ни платы дружине.

И тогда двести человек, которых нечем кормить, начнут брать сами.

Именно это и случилось с Ульвом.

Его убили в ноябре, на волоке, свои же, из-за того, что он взял с новгородского гостя сорок гривен и не поделил. Убили буднично, ночью, и потом семеро ушли вверх, а остальные сидели и ждали, что будет.

Хельги узнал об этом на третий день и в ту же ночь снял с верёвки шестой узел и завязал заново.

С той ночи он и стал считать годы.

* * *

Он собрал своих в длинном доме на Сяси, где было тесно и жарко и где пахло мокрой овчиной.

Пришло шестьдесят семь: семнадцать лежали в жару, и Хельги велел назвать им счёт после.

Своих у него было восемьдесят четыре человека.

Это было мало. У Ингвальда было около двухсот, считая тех, что сидели по берегу. Но восемьдесят четыре Хельги знал по именам, знал, у кого какая жена и кому он сколько задолжал, и платил им зимой, когда они ничего не приносили, — платил третий год, вгоняя себя в долги перед двумя гостями из Бирки, о чём знали только он и Стейн.

Стейн был его двоюродный брат, старше на четыре года, тяжёлый и медленный человек, который никогда не спорил вслух и всегда делал по-своему.

— Говори, — сказал Стейн. — Они мокрые, они долго не усидят.

Хельги вышел к огню и положил на утопанный пол верёвку.

— Считайте со мной, — сказал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.